

Дмитрий Мамин-Сибиряк

**На рубеже Азии. Очерки
захолустного быта**



Дмитрий Мамин-Сибиряк
**На рубеже Азии. Очерки
захолустного быта**

«Public Domain»

1882

Мамин-Сибиряк Д. Н.

На рубеже Азии. Очерки захолустного быта / Д. Н. Мамин-Сибиряк — «Public Domain», 1882

В повести разработана популярная в литературе 1860 – 1880-х годов тема из жизни разночинной интеллигенции, в частности, выходцев из бедной части духовенства. К этой теме Мамин-Сибиряк обращался неоднократно.

Содержание

I	5
II	11
III	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

На рубеже Азии. Очерки захолустного быта

I

Мой отец был человек среднего роста, замечательно толстый, вспыльчивый, добрый и слабохарактерный. Последнее я понял, может быть, слишком рано, еще в том счастливом возрасте, когда люди всему на свете предпочитают сладкое, верят всем на слово и всякую книгу считают своим смертельным врагом. Бывало, отец сильно вспылит на что-нибудь, закричит, затопает ногами, и кажется, вот-вот возьмет да и переломит пополам своего собеседника, но как-то случалось всегда так, что именно в эту самую минуту появляется мать своими неслышными шагами, и отец вдруг стихнет и заговорит совершенно другим голосом; только изредка это быстрое затишье нарушалось очень резкими нотками, точно кто возьмет да и отрубит топором. Мать скромно садилась с работой куда-нибудь в уголок и все время самым сосредоточенным образом ковыряла какой-нибудь чулок, строго поджав губы. Я всегда с особенным любопытством наблюдал эту немую сцену и знал наперед, что, когда выйдет за дверь тот человек, который заставил отца сердиться, мать, не подымая глаз от чулка, проговорит своим тихим ласковым голосом:

– Вам, Викентий Афанасьич, очень вредно горячиться... и Январь Якимыч как-то это же говорил.

– Да я, Пашенька... ах, подлецы, подлецы!! – раздражался обыкновенно отец страшными проклятиями, но это был уже последний удар грома.

Схватившись за голову, отец долго ходил тяжелыми шагами, от которых дрожали половицы; его большое строгое лицо с косматой бородой и сердитыми серыми большими глазами скоро смягчалось, и он немного виноватым голосом проговаривал, не обращаясь собственно ни к кому:

– Чайку бы выпить...

Мать молча поднималась с своего места, не глядя на отца, брала со стола всегда блестящий самовар и отправлялась с ним к печке: отец очень любил пить чай, и поэтому самоваром в нашей семье разрешалось очень много тяжелых минут, в которых не было недостатка. Я уверен, что не будь самовара, этих тяжелых минут в нашей жизни было бы несравненно больше.

Отец служил священником в одном из уральских горных заводов, на самом плохом месте, какое только было во всей...ской губернии, куда он попал благодаря своей горячности. Этот завод называется по речке Таракановке – Таракановским или попросту Таракановкой; в нем было всего полторы тысячи жителей, половина которых уклонилась в раскол, значит, приход был самый последний и едва ли давал отцу в год и сто рублей дохода, кроме двенадцати рублей жалованья, на которые приходилось существовать целому семейству в шесть человек. Правда, у нас была готовая квартира, состоявшая из двух комнат: кухни и чистой комнаты; готовое отопление и освещение и, кроме того, ежемесячно от владельца заводов выдавалось по полтора пуда ржаной муки на душу, что на шесть человек составляло в месяц девять пудов. Чистая комната служила гостиной, кабинетом отца, спальней; кухня была и приемной, и прихожей, и столовой, и детской. Я не понимаю, как моя мать могла ухитриться, чтобы эти две комнатки всегда были и чисты и опрятны; но это было так, по крайней мере я не помню, чтобы в этих комнатках когда-нибудь был сор или грязь. Чистота – это был культ моей матери, вторая натура. На всех вещах, которые были в наших двух комнатках, непременно лежала эта строгая печать: скромная чистенькая мебель, посуда, платье – все было очень скромно, даже, может быть, слишком скромно и, вероятно, казалось бы очень бедным, если бы чистота не скрадывала пятен, запла-

ток и той особенной полировки, которую получают вещи от долгого употребления. Входивший в кухню не замечал, что он в кухне: русская печь, налево от двери, была замаскирована всегда чистенькой ситцевой занавеской, – направо от дверей, около стены, тянулась широкая деревянная скамья, перед ней стоял большой ломберный стол, на котором обедали, пили чай, а в свободное время работала мать с моими сестрами или я готовил свои уроки. Небольшой стеной шкаф, тоже замаскированный ситцевой занавеской, умещал на своих небольших пяти полках почти всю кухонную посуду, за исключением нескольких медных кастрюлей, которые хранились вместе с двумя серебряными ложками в большом деревянном сундуке, стоявшем за печкой, где была спальня и будуар моих сестер. На полу всегда были настланы чистенькие половики домашнего приготовления; около печки ярко блестел медный рукомоиник с медным тазом; в переднем углу висел старинный образ в серебряном окладе; только одна картина, написанная масляными красками на железном листе, которая висела как раз против входа так, что всякому невольно бросалась в глаза, – одна эта картина представляла какое-то исключение из всей этой обстановки, а для меня – неразрешимую загадку. Эта мудреная картина изображала знаменитую сцену, происшедшую между целомудренным Иосифом и женой Пентефрия, и, нужно отдать ей справедливость, изображала очень плохо, хотя неизвестный художник не поспешил ни относительно красок, ни относительно фантазии. На первом плане была кровать, нечто среднее между эшафотом и комодом, а на кровати лежала совсем голая женщина с красным лицом и розовыми ногами, прикрытая какой-то сеткой, походившей на невод; она улыбалась и манила рукой Иосифа, который, оставив в ее руках часть своей верхней одежды, поспешно удалялся, неестественно загнув назад голову и как-то особенно смешно выворотив обе ноги, точно они были у него вывихнуты. Как попала эта странная картина в нашу скромную обстановку и зачем она висела прямо против входной двери, я до сих пор не могу объяснить этого себе, но картина висела несколько десятков лет и так всем нам примелькалась, что, кажется, никому и в голову не приходило, что она могла быть неприлична.

В чистой комнатке, в дальнем углу, стояла громадная двухспальная кровать, скрытая под шерстяным пологом; налево от двери стоял письменный стол отца; несколько дешевых стульев было расставлено вокруг стен; коричневый диван, перед ним «десертный» стол, а налево от дверей стоял громадный комод, оклеенный красным деревом. Этот комод составлял исключение в нашей скромной мебели, и я часто рассматривал эту диковинную вещь, лучше которой ничего не мог себе представить. Я гладил рукой полированное дерево, прикладывал к нему щеку, дышал на него, наблюдая, как пар от дыхания мокрым пятном ложился на политуру и быстро высыхал; но медные ручки ящиков приводили меня просто в восторг и своим блеском и своей изящной работой в форме переплетавшихся между собой змеек. Отдельно от всей остальной мебели стоял высокий посудный шкаф, занимавший самое видное место: за его стеклами была собрана вся наша лучшая столовая и чайная посуда, две фарфоровых куклы, несколько кондитерских сахарных яичек и полдюжины ярко-расписанных фарфоровых тарелок, на которых в торжественных случаях подавалось варенье и десерт. Вообще, сквозь всю нашу скромную обстановку проходило несколько вещей каким-то исключением, и на них, кажется, сосредоточено было все внимание моей матери: она так всегда берегла их и каждый раз с особенным удовольствием вынимала их откуда-нибудь из глубины сундука потому, вероятно, что они безмолвно напоминали ей о лучшем времени. В числе этих вещей были знаменитый комод, рукомоиник, две столовых и полдюжины чайных серебряных ложек, несколько разрозненных чайных чашек, медные кастрюли, полдюжины фарфоровых тарелок, и, кажется, к ним же принадлежала знаменитая картина, с которой, по-видимому, у матери связано было или какое-нибудь хорошее воспоминание, или, может быть, даже суеверная надежда, что существование этой картины тесно связано с существованием всей нашей семьи. Что такие фамильные суеверия существуют и передаются из одного поколения в другое, в этом, вероятно, убедился всякий мало-мальски наблюдательный человек.

– Это еще когда мы в Махнёвой жили, – неизменно приговаривала мать каждый раз, вынимая какой-нибудь медный подсвечник или старинную фарфоровую чашку, причем непременно припоминалось с необходимыми подробностями какое-нибудь событие из жизни нашей семьи, так что по этим чашкам, тарелкам и ложкам можно было восстановить очень подробно историю нашего семейства – каждая чашка, каждое блюдечко говорили за себя.

– Вот эту чашку с розовыми цветочками подарил тебе твой крёстный, – говорила мать, повертывая перед моим носом небольшую красивую чашку. – Тогда Викентий Афанасьевич купил в городе кобылицу, приезжает домой и говорит: «Пашенька, посмотри, какую я лошадь купил в городе», – а крёстный-то из-за его спины выставил эту чашечку и говорит: «А я вот крестнику чашечку тоже купил»...

«Когда мы жили в Махнёвой» – это было началом и концом всякого разговора в этих случаях, потому что в Махнёвой остались лучшие воспоминания нашей семьи, когда у нас была знаменитая кобылица, которую не могла обогнать в Махнёвском заводе ни одна лошадь, и много знакомых; мать относилась с каким-то суеверным чувством ко всякой вещи, которая напоминала жизнь в Махнёвой, за исключением небольшой изящной фарфоровой куклы, которая была известна в нашей семье под названием «секретаря» и которую сестры тщательно прятали от отца, потому что он уже несколько раз выбрасывал ее за окно; мать хотя не выбрасывала куклы, но всегда делала вид, что не видит ее или приговаривала между прочим: «Это так... дрянь разная!»

– Не-ет, мне она, эта кукла, вот где сидит, – говаривал отец, показывая на свой затылок. – *Он* тогда и подкатил ко мне с этой куклой.

«*Он*», вместилище всяких зол и источник всяких наших злоключений, Амфилохий Лядвиев, был секретарь ...ской консистории; он учился вместе с отцом в семинарии, а затем они рассорились из-за каких-то пустяков, отец сгоряча написал своему товарищу очень оскорбительное письмо, и секретарь устроил так, что отца немедленно перевели из Махнёвой в Таракановку, то есть из очень богатого прихода в самый бедный. Эта история повторялась в нашем семействе тысячи раз, и отец каждый раз приходил в страшную ярость и кричал:

– *Он* хочет, чтобы я к нему с повинной пришел... взятку ему дал, консисторской крысе! Не-ет, шалишь... Викентий Обонполов расколотого гроша тебе не даст!.. *Он* думает, что я покорюсь: не-ет... Было время, когда *он* для Обонполова за водкой бегал, подлец...

Когда пароксизм гнева проходил, отец с какой-то тихой грустью прибавлял:

– А ведь когда-то из одной чашки ели, на одной скамье сколько лет высидели... А теперь попал в консисторию, и черту не брат? А что такое консистория? Мне плевать на их консисторию... *Quid est consistoria? Consistoria est oblutatio poporum, diacanorum, diatschcorum cum prosvirhibus...*¹ Ха-ха-ха!.. Вот что консистория... подлец сидит на подлеце, подлецом понукает! Ха-ха!

И отец смеялся нехорошим тяжелым смехом, точно он хотел заглушить им в себе того червячка, который день и ночь сосал его. Амфилохий Лядвиев, страшный призрак для нашей семьи, имя которого не произносилось в нашем доме, был по всей вероятности самый обыкновенный консисторский секретарь; но с этим именем были связаны самые тяжелые воспоминания, и я не иначе представлял его себе, как «в образе зверином», каким-то полумифическим существом. Мой отец отлично окончил курс в ...ской семинарии и как один из лучших богословов получил место в Махнёвском заводе, где и зажил припеваючи; но ссора испортила неожиданно все, и день за днем наша семья приближалась к роковой нищете. Наших маленьких средств не хватало даже на содержание, и моей матери пришлось зарабатывать деньги иголкой; она шила платья, пальто, шубы; сначала это делалось потихоньку от отца, потом делалось под предлогом помощи каким-то дальним родственникам; но никакая тайна не остается тайной:

¹ Что такое консистория? Консистория – это обирание попов, дьяконов, дьячков и просвирен... (лат.).

отец как-то узнал горькую истину и, вместо ожидаемой вспышки, заплакал, как ребенок. Это были первые слезы в течение этой семилетней войны.

– Пашенька, мне стоит съездить к преосвященному, – говорил отец, – он меня помнит и переведет на другое место... Я ведь не за себя поеду просить, а за детей: зачем с детьми-то меня на старости лет пустили по миру?! А?.. Зачем?

Но это были одни слова, звуком которых отец утешал и себя и нас; мать обыкновенно молчала и только ниже наклоняла голову, чтобы незаметно от всех вытереть невидимку-слезу. Эти роковые семь лет сильно состарили отца, волосы на голове и в бороде начали седеть, а главное, характер его сильно изменился; он начал ко всем относиться подозрительно, везде видел козни и интриги своего смертельного врага, Лядвиева, и сделался тем, что известно под именем «обозленного человека».

Нужно сказать, что чем сильнее одолевала нас бедность, тем больше вырастала наша семейная гордость, в жертву которой приносились последние гроши, причем не допускалось даже мысли, что можно было поступать иначе. Я очень хорошо помню, как наш обед делался все скуднее и скуднее, но стоило только повернуться чужому человеку в наш дом, – сейчас появлялось на столе вино и дорогая закуска, и начиналось самое усердное угощение; гость пил, ел и уходил, а мы оставались при нашем скудном обеде, и никому даже в голову не приходило, что лучше было истратить деньги, которые шли на вино и закуску гостям, на те бесчисленные нужды, которые все сильней и сильней окружали нас. В семье мы могли чувствовать всю тяжесть бедности и скрепя сердце выносили большие лишения, но перед чужими людьми мы держали себя с большим гонором и бросали последние рубли с самым равнодушным видом, как будто совсем не нуждались в деньгах; эта мысль была наследственной, была каждому из нас понятна сама собою, и я уверен, что каждый из нашей семьи не мог представить себе другого порядка вещей. Самой страшной вещью для нашей семьи была мысль, что о нас скажут, и, боже сохрани, пожалуй, поставят на одну доску с заводскими лесообъездчиками или заводскими служащими, мелкой сошкой вообще.

– В прошлый раз у Сермягиных подали пирог с рыбой, а корка-то из второго сорта, – не поднимая глаз, проговорит иногда мать с такой улыбкой, что я, кажется, согласился бы десять раз умереть, чем подать гостям пирог из второго сорта. Слушая тихий разговор матери с отцом о ком-нибудь постороннем, я часто испытывал большой страх за участь этих посторонних, у которых все было не так, как у нас, то есть неизмеримо хуже; мое детское сердце сжималось от страха за участь каких-нибудь Сермягиных, и я вместе с тем сам начинал относиться к ним с приличной строгостью и даже с известным презрением, потому что был глубоко убежден в нашем семейном превосходстве.

Странно то, что эта семейная гордость переносилась даже на вещи, которых у нас не было; может, тут действовала просто зависть, но, с другой стороны, все, что было в руках других, для меня решительно не имело никакой цены, потому что только у нас были действительно хорошие вещи, а у других – все дрянь разная; я жалею, что не могу привести даже образчика той критики, какую мать задавала каждой чужой обновке – одним словом, в результате такой критики вещь по меньшей мере оказывалась негодной, если только не вредной. А что происходило в нашей семье, когда нужно было что-нибудь купить, сшить, заказать, – это было целое событие, которое делало в жизни нашей семьи эпоху, так что не говорили, что это случилось в таком-то году, а говорили, что оно случилось как раз в то время, когда шили шубу тому-то или такое-то платье матери или сестрам; к сожалению, таких событий было слишком мало в нашей жизни, и вдобавок они уменьшались с каждым годом, поэтому, вероятно, мы особенно и дорожили ими. Но вот новая вещь выдержала искус и попала в наш дом, – с этих пор она уже не допускала ни сравнения, ни критики: достаточно было уже одною того, что она в нашем доме; эти вещи, имевшие честь сделаться нашими, как бы переставали быть вещами, а составляли часть нас самих.

Наша семья состояла, как я уже сказал, из шести человек: отец, мать, старший брат, я и две сестры. Сестры были подростки, одной четырнадцать, другой пятнадцать лет; старшую звали Надей, младшую Верочкой. Надя была красива, всегда весела, любила поесть, соснуть покрепче и заливалась таким звонким девичьим смехом, что даже отец, глядя на нее, бывало, засмеется, что с ним случалось все реже и реже; Верочка на вид выглядела простенькой, но была с прижимистым характером и необыкновенно выдержанна, а главное, все делала в меру, так что мать постоянно ставила ее в пример Наде и стыдила последнюю, что сна уже невеста, а ума у ней все нет.

Сестры кое-как умели читать и писать, этим и ограничивалось их воспитание, зато по части хозяйства им было дано примерное образование: Надя любила рукоделья, Верочка помогала матери по хозяйству или, вернее сказать, – она одна вела все наше хотя и маленькое, но очень сложное хозяйство, потому что у нас была корова, а ходить за коровой, особенно зимой, для четырнадцатилетней девочки было очень трудно. Встать в пять часов утра, идти сейчас же из теплой комнаты на тридцатиградусный мороз, выносить пойло корове, задать ей сена, подоить – все это такие операции, которые для всякой другой девочки составили бы непреодолимые препятствия, только не для Верочки; она, бывало, только раскраснеется с мороза, храбро подтычет юбки и с улыбкой в десятый раз идет во двор. Зато уж любо было посмотреть на корову Верочки, – так она была всегда чиста, так умно держала себя и давала всегда такое отличное молоко.

Но сестры и моя собственная персона, все это были только подробности, придатки к Аполлону Обонполову, первенцу и баловню всей семьи, моему старшему брату; он лет шесть уже учился в уездном духовном училище и приезжал домой только на святки и на летние вакации. Это был уже совсем молодой человек, ему было шестнадцать лет; высокого роста, очень сильный, с бледным выразительным лицом, серыми глазами, густыми черными бровями и чуть пробивавшимися усиками – он был для меня недостижимым идеалом, перед которым все преклонялись в доме и который был и общей надеждой нашей семьи, нашей гордостью, нашим счастьем и нашей общей слабостью. Понятно, что для Аполлоши ничего не было заветного; отец тратил на него последние гроши с самым довольным лицом, мать проводила бессонные ночи над работой «в люди», над которой потеряла глаза, – и все это затем, чтобы Аполлоша был, «как другие», в училище, то есть как дети богатых священников, благочинных и протопопов; у него было всегда приличное белье, приличное верхнее платье, книги и даже карманные деньги.

Нужно отдать справедливость Аполлону, что он не только не злоупотреблял своим исключительным положением, но платил большой любовью своей семье и с каждым годом делался тем, что желала в нем видеть мать (отец на все смотрел ее глазами); точно он отливался по ее рецепту: гордый, расчетливый, аккуратный, бережливый, считавший себя и свою семью выше всего на свете; отцу больше всего нравились в Аполлоне его физическая сила и прямота характера; сестрам – то, что он молодой человек, который хотя и обращался с ними свысока, но все-таки молодой человек, которым интересовались все заводские барышни.

Приезд Аполлона на вакации был для нас задолго предметом самых оживленных разговоров; последние дни ожидания были просто тяжелы от чересчур сильного нервного напряжения; Аполлон являлся всегда такой свежий и довольный и всегда привозил что-нибудь в подарок мне и сестрам. Это, кажется, были единственные подарки, какие мне случалось получать в детстве, и воспоминание о них для меня неразрывно связано с приездом Аполлона. Бывало, с таким нетерпением юлишь около Аполлона, пока он здоровается со всеми, отвечает на вопросы отца и матери, но, наконец, эта скучная церемония кончается, Аполлон медленно запускает руку в карман голубого жилета, вынимает оттуда ключ и отворяет кожаный чемодан – тоже воспоминание о Махнёвском заводе. Как было все аккуратно уложено в этом чемодане, – кажется, не описать никаким пером: белье, книги, папиросы, разные безделушки точно так и родились

вместе с чемоданом, по крайней мере я никогда не мог достигнуть такого искусства укладывать свои вещи в этот же самый фамильный чемодан, когда мне пришлось ездить с ним в училище. Грошовые подарки, которые привозил нам Аполлон, были так хороши, что я даже теперь, по прошествии долгих-долгих лет, испытываю чувство невольного волнения при одном воспоминании о них; я уверен, что никакие елки богатых детей не доставят такого удовольствия, какое мне доставлял чемодан Аполлона, окруженный самой таинственной неизвестностью и всегда оправдывавший мои ожидания самым блестящим образом, потому что достаточно было уже одного того, что эти подарки привозил Аполлон.

Словом, Аполлон был для нас некоторым домашним божком, который все делал и говорил самым отличным образом, но у этого божка был один крупный недостаток – очень плохая память, так что, несмотря на все его усердие и самое отчаянное прилежание, он вместо двух лет сидел по четыре года в классе;² отец и мать смотрели на это довольно снисходительно, потому что Аполлон просто из кожи лез, чтобы учиться наравне с другими, и занимался с редким прилежанием даже во время каникул.

– Не лопнуть же ему в самом деле, – утешал себя отец. – Только я, бывало, всегда первым в классе сидел: загляну в книжку, прочитаю два раза, и кончен бал. Может, нынче труднее учиться стало, или учителя строгие; а как ты, Паша, думаешь, – не подводит ли Аполлошу тот?

Этот намек на консисторского секретаря казался матери совсем неосновательным, и она старалась успокоить отца чем-нибудь другим, рассказывала приличный случаю пример, как у какого-нибудь священника сын в младших классах шел плохо, а в семинарии кончил студентом. Отец успокаивался и, вздохнув всей своей могучей грудью, прибавлял: «Претерпевый до конца – той спасен будет».

В каждый такой приезд Аполлона на каникулы, после первых приветствий, отец всегда спрашивал брата:

– А что отец Марк?

– Ничего; кланяется вам, папа.

– Еще пуще разбогател?

– У него, папа, двадцать лошадей, да хлеба лежит в амбарах по три тысячи пудов.

– Что же, большому кораблю большое плавание, а мы поближе к берегу, – с подавленным вздохом говорил каждый раз отец и обыкновенно прибавлял: – Только я так думаю: конечно, я получаю мало в Таракановке, а зато я не пойду кланяться каждому мужику, не буду кланчить сметану да масло... А все-таки отлично устроился отец Марк. Три тысячи пудов хлеба – это не баранья кожа!

– Дочери-то у отца Марка большие? – спросила мать.

– Большие, – коротко отвечал Аполлон.

– Отлично, поди, одеваются?

– Да, ничего.

– Ведь вот, подумаешь, какая, видно, кому судьба, – говорил отец: – вместе на одной парте сидели: я, Марк да Амфилошка... Мы Марка больше Маркушкой звали, и учился он так себе, середка на половине, а теперь... три тысячи пудов, а?... А все-таки я не завидую отцу Марку, потому я получаю жалованье от заводууправления и знать ничего не хочу... Отлично Маркушка устроился!

² До преобразования духовных уездных училищ в них полагалось три класса или отделения; в каждом отделении учились два года. (Прим. Д. Н. Мамин-Сибиряк.)

II

Наш домик выходил на небольшую четырехугольную площадь, упиравшуюся в заводской пруд; на берегу пруда стояла небольшая деревянная церковь, очень ветхая и когда-то очень давно выкрашенная сиреневой краской. Направо от церкви тянулась заводская плотина, под ней чернела фабрика, а за прудом белел каменный господский домик, в котором жил заводский управитель, француз Кабо; налево от церкви стояло несколько деревянных лавчонок, и сейчас за ними, на небольшом возвышении, красовалось «Пеньковское волостное правление» – большой новый пятистенный деревянный дом с ярко-зелеными ставнями. Завод Таракановка заброшен в самую глубь Уральских гор; расположен он на месте слияния трех небольших горных речек, из которых река Таракановка была самая большая и образовала небольшой заводский пруд, со всех сторон обложенный пестрой рамой заводских домиков. Если смотреть на Таракановку с высоты птичьего полета, она представлялась глубокой горной котловиной, окруженной со всех сторон невысокими лесистыми горками; люди заезжие находили ее очень некрасивым заводом и даже называли вороньим гнездом, но я никогда не мог объяснить себе подобного заблуждения и всегда считал Таракановку самым живописнейшим местом на свете. Самое замечательное в Таракановке было то, что во всем заводе не было ни одной точки, с которой не было бы видно леса и недалеких гор; крайние домики стояли наполовину в лесу или отделялись от него небольшими «кулигами», так что, куда ни посмотри – везде лес, настоящий сибирский лес, полный для меня неизъяснимой прелести.

Основан Таракановский завод очень давно, лет полтора назад, на месте небольшого раскольничьего поселка; раскольники, беглые из Сибири и разных иных сброд давно оценили р. Таракановку с ее дремучими лесами и свили здесь теплое гнездо; но один из русских промышленников «приглядел» это местечко под завод, выпросил его себе у правительства и выстроил фабрику. Первый владелец Таракановки, какой-то Коробейников, основал еще несколько заводов на Урале, а затем умер; его наследники поделили заводы между собой, и в конце концов Таракановка очутилась во владении графини Х. Сама графиня никогда не бывала на своем заводе, все дело вершили разные управители, управляющие и доверенные; последний из них, француз Кабо, пользовался плохой популярностью и больше всего заботился только о дивидендах своей доверительницы. Рабочие называли его «наш Кобель»; мой отец отзывался о нем с величайшим презрением, во-первых, потому, что Кабо был католик и никогда не ходил в церковь, а во-вторых, потому, что и «имя у него было собачье»; вообще Кабо принадлежал, по терминологии моего отца, к тому разряду людей, который был помещен под рубрикой: «чужая ужна».

– Приехал, нажил денег и уехал, – говорил отец: – такое ему и имя: чужая ужна и есть!.. И живет, яко пес: постов не соблюдает, жрет зайцев, голубей, воробьев...

Жителей в Таракановке было до полутора тысяч, это были большею частью закоснелые раскольники, «кержаки», как называл их отец; в окрестных лесах, особенно в верховьях речки Таракановки, было несколько раскольничьих скитов, где самым мирным образом проживали разные старцы и старицы. Отец не умел ладить с своей паствой, постоянно горячился в спорах и, наконец, махнул на непокорных овец рукой; кержаки относились к нему индифферентно и только изредка ради шутки косвенным образом давали заметить свое озлобление, отпуская выражения вроде того, что «вес не попова душа», и т. п.

Ядро таракановской аристократии составляли две фамилии заводских служащих: Сермягины и Портнягины; из представителей этих двух фамилий составилась весь контингент заводских служащих: тут были и повытчики, и запасчики, и расходчики, и надзиратели, и дозорные – словом, как говорил отец, всякого жита по лопате. Замечательнее всего было то, что эти две фамилии страшно враждовали между собой, и эта фамильная вражда переходила из рода

в род, так что происходило нечто вроде войны гвельфов и гибеллинов: то повышались Сермягины и падали Портнягины, то начинали забирать силу Портнягины, а Сермягины «заху-дали» и клонились к упадку. Только два человека из этих семей представляли собой исключение: Иван Меркулыч Сермягин и Январь Якимыч Портнягин – они не только не враждовали, а жили душа в душу; Иван Меркулыч, или попросту Меркулыч, занимал должность волостного писаря. Январь Якимыч «состоял на обязанности лекарского ученика», как он выражался. Обыкновенно Января Якимыча звали Январем или просто «учеником», но это не мешало ему быть замечательным человеком во многих отношениях, начиная с его наружности: маленький, сухонький, с маленькой седой головкой и какими-то забавными пукольками на висках, он резко отличался от всех остальных обитателей Таракановки, а для меня лично на «ученике» лежала видимая печать того замечательного обстоятельства, что Январь Якимыч, после Кабо, был единственный человек на заводе, который «был даже в Москве». Для меня последние слова имели магическое действие, я всегда смотрел на Января, как на выходца с того света; даже отец, и тот, хлопнув своей могучей рукой «ученика» по плечу, не раз говаривал: «Ведь смотреть, братец, не на кого, а был в Москве... а?»

Жил Январь Якимыч одиноким старым холостяком в какой-то конурке, отгороженной им в заводской аптеке за большими шкафами; чрезвычайно добрый, по-своему умный, Январь Якимыч все свои досуги посвящал исключительно двум предметам: во-первых, рыжей корове, которую он ухитрился держать тоже при аптеке, в каком-то чулане, а во-вторых, рыбной ловле, в которой не знал соперников. Практики у старика было очень немного, да и болезни были самые простые: мужики маялись головой и поясницей, бабы «скудались животом и зубами», и только изредка, для разнообразия, у кого-нибудь «подкатит под самое сердце». Январь Якимыч относился к своей обязанности очень серьезно и с самым трогательным усердием «пользовал от головы, живота, поясницы и от сердца», причем больные выздоравливали, кажется, больше благодаря доверию к «ученику», чем его микстурам. В каморке Января Якимыча все вещи были «из Москвы», хотя в Москве старик был лет сорок тому назад; ходил Январь мелкой дробной походочкой, «сыпал», постоянно улыбался, шурил глазки, поправлял пукольки на висках и любил унащать свою речь двумя прибаутками, которые не сходили у него с языка: «А, чтоб тебя собачки заели! А, чтоб тебя кошки залягали!» Богомолен был Январь до неистовства и притом имел странную привычку молиться вслух; поздно вечером, стоя на коленях и откладывая земные поклоны, он громко молился «о коровушке-буренушке, гуляющей на зеленой муравушке».

Я уже сказал, что Январь и Меркулыч жили в большой дружбе между собой, и только раз эта долгодетная дружба чуть было не порвалась совершенно случайным образом: Меркулыч принес из лесу в корзинке «облако», а Январь просмеял его и доказал, что это «облако» Меркулыча какой-то сморчок или лишай. Как теперь вижу Меркулыча: небольшого роста, довольно плотной комплекции, с круглым и румяным, как спелое яблоко, лицом, с сильно напомаженными светло-русскими волосами, он, после брата Аполлона, всегда казался мне самым красивым человеком в свете; небольшая русая бородка, усы, черные брови и два ряда удивительно белых, точно выточенных из слоновой кости зубов придавали его физиономии самое степенное благообразие, какое я только мог себе представить. Одевался Меркулыч скромно, но прилично; его казинетовое пальто было всегда чисто, по праздникам он надевал белые накрахмаленные сорочки и с необыкновенным искусством повязывал пестрый галстух на шее, в торжественных случаях надевал ярко-зеленые лайковые перчатки и носил с собой тоненькую камышовую тросточку, предмет сильнейшей моей зависти. В будни Меркулыч ходил в простых ситцевых рубашках и прятал казинетовые брюки за сапоги, что он делал не по недостатку вкуса, а из экономии. Скромность Меркулыча и его тихий, хотя и не без известной доли упрямства нрав делали его общим любимцем, тем более что он обладал секретом вечной веселости, самого ровного расположения духа и самым безобидным юмором, который разыгрывался с особенной

силой в присутствии барышень; к последним Меркулыч питал большую слабость, но держал себя очень скромно. Меркулыч был доволен собой до глубины души, если ему удавалось сказать острое словцо; в разговоре, к месту и не к месту, он часто прибавлял две поговорки, которые находил очень смешными: «еще хуже» и «как дров». За этим прекрасным человеком во всех отношениях была одна слабость: он пил водку очень редко, но зато уж как попадало ему пять-шесть рюмок, он лез на стену и выделывал чудеса, причем обнаруживал крайне разрушительные наклонности – лез драться, ломал все, что попадало под руку, вообще держал себя самым непозволительным образом и совсем не походил на себя: делался бледен, как полотно, глаза наливались кровью, рвал на себе платье и даже, в один из таких припадков, сломал свою камышовую тросточку. Обитатели Таракановки, принимая во внимание общую сумму достоинств Меркулыча, великодушно извиняли ему его единственный недостаток, выражаясь довольно коротко: «Меркулыч у нас разрешил». По воскресным дням Меркулыч непременно являлся в церковь, и хотя очень недолюбливал дьячка Кинтильяна, самого отчаянного скандалиста, какого мне только случалось встречать, но всегда становился на правый клирос и подпевал Кинтильяну довольно приятным тенором, вместе с Январем Якимычем, который тоже был не прочь спеть «пофигуристее»!

Волость была в двух шагах от нашего дома, и я постоянно бежал туда; в волости всегда был кто-нибудь, и непременно что-нибудь рассказывали. Правда, иногда здесь происходили, может быть, слишком откровенные разговоры для моего возраста, но с двенадцати лет я пользовался уже полнейшей свободой, и меня трудно было удивить откровенностью по части разговоров. В волости всегда можно было застать картину: Меркулыч вечно что-нибудь скрипит пером на бумаге, в углу комнаты непременно режется в шашки старшина Прошка с кем-нибудь из своих благоприятелей – с церковным старостой Емельяном Ивановым Рукиным, или с сидельцем Вахрушкой, или, наконец, с Январем Якимычем, который до страсти любил задать партнеру «воздушный или пароходный нужничек». Прошка сильно походил на медведя, только что поднятого с берлоги: громадного роста, косая сажень в плечах, с большим зверским лицом и маленькими свинными глазками, совсем заплывшими жиром; всего замечательнее у Прошки был его могучий затылок – такие затылки можно видеть только где-нибудь на памятниках. Что касается до нравственного характера Прошки, то это был зверь в полном смысле этого слова, особенно когда он напивался пьян, а пьян он был на правах старшины с утра до вечера; в течение восьми лет Прошка своими десяти пудовыми кулаками отправил на тот свет две жены и теперь подыскивал третью. До толстых баб Прошка был большой охотник, и рабочие называли его за это Быком.

Интересная игра в шашки в волости кончалась всегда одним и тем же: как Прошка ни потел, как ни чесал затылок, а Январь Якимыч всегда непременно загонял его «в места зланные». Рукин был старик лет шестидесяти, благообразный и седой, но очень хитрый и постоянно улыбающийся; у него на рынке была небольшая лавчонка, в которой он бойко торговал «панским товаром», то есть обувью, чекменями, азиями, конской сбруей, рукавицами и разными другими товарами, в которых нуждался рабочий люд. Вахрушка, сиделец, красивый парень лет двадцати пяти, славился тем, что ежегодно «уносил круг о Николине дне», когда в Таракановке происходила борьба; Вахрушка «завязывал узлом» даже Прошку с его неизмеримым затылком и вообще пользовался репутацией отпетой башки. Прошка, Рукин и Вахрушка составляли «таракановскую троицу», как говорил отец, и были неразлучны: утром играли в шашки в волости, а по вечерам резались в стуколку у Рукина. Относительно этой троицы в Таракановке громко говорили все, что и Прошка, и Рукин, и Вахрушка «пошли жить от старцев»; именно, ходили всевозможные рассказы о том, как эта троица подсмотрела где-то в горах раскольничий скит, старцев и стариц передумала и забрала себе многое множество денег, меду, восковых свеч, дорогих икон и т. п.; между прочим, передавали, со всеми подробностями, как троице досталось одной медной монеты пять больших мешков, в каких продают муку. В подобных

случаях ничего невероятного не было; случаи подобного рода в летописях Таракановки не были исключительным явлением: одной рукой подавали в скиты, а другой зорили их.

У Рукина и Прошки были отличные новенькие домики, стоявшие недалеко от волости; между ними приютилась небольшая избушка нашей просвирни Луковны. Эта маленькая на вид избушка внутри делилась на три комнаты: в одной жила сама Луковна с дочерью Олимпиадой, или попросту, как все ее называли, Лапой и даже Лапухой; в другой комнате жил сын Луковны, дьячок Кинтильян, а в третьей помещался Меркулыч. У избушки Луковны ворот не было, а стояли одни столбы; крыша давно прогнила, кирпичи в трубе выкрошились, и у окон не доставало нескольких кирпичей. Но это наружное убожество с излишком выкупалось тем, что находилось внутри избушки Луковны.

Комната Луковны отличалась полным отсутствием мебели, за исключением двух лавок и некрашеного стола; перед русской громадной печкой стояло несколько ухватов, полка с горшками, чашками и самоваром была рядом – вот и все. Остальное имущество помещалось частью на печке, частью за печкой и состояло из какой-то невообразимой ветоши да двух-трех стареньких ситцевых платьев.

Луковна была вдова; ее муж был дьяконом в Таракановке. Это был очень добрый и очень умный человек, но вечно пьяный и не имевший совсем характера.

Если моему отцу тяжело приходилось жить в Таракановке, то дьякону приходилось вдвое тяжелее, потому что он получал вдвое менее жалованья и доходов, а Луковне в десять раз тяжелее всех, потому что муж пропивал половину жалованья и, главное, мешал работать и буянил. Однако, несмотря на все это, Луковна ухитрилась выучить старшего сына в семинарии; другой ее сын хотя и жил с ней вместе, но не только не помогал ей, а даже тащил в кабак из ее гардероба или убогой утвари, что попадало под руку. Когда у Луковны учился старший сын в училище и семинарии, каждый месяц нужно было посылать в город пять рублей за квартиру, нужно было белье, верхнее платье, сапоги, – я отказываюсь понять, каким образом сколачивалась Луковна, когда в доме не было гроша. По смерти дьякона, которого Луковна горько оплакивала, она жила по-прежнему, с той разницей, что ее никто не ругал, но это не мешало Луковне часто вспоминать мужа, и чем больше проходило времени, тем воспоминания эти делались как-то живее, и дьякон являлся в них почти отличным семьянином. Забывала ли Луковна свои огорчения, вспоминала ли свою молодость, когда дьякон еще не пил, или смерть примирила ее с отцом ее детей, – трудно сказать, но Луковна никогда не говорила ничего дурного про своего мужа. Мой отец и все одинаково уважали эту женщину; сама Луковна держала себя всегда ровно и спокойно, была приветлива и не теряла этого равновесия души и часто смеялась сквозь слезы над какой-нибудь выходкой своего «заблудящего дьякона», как она называла мужа. В детстве я половину своего времени проводил в избушке Луковны, которую очень любил, и как теперь вижу ее: небольшого роста, широкая в плечах, с сильными загорелыми руками; смуглое скуластое лицо ее с небольшими черными глазами, совсем черные волосы на голове, густые брови, немного приподнятые скулы, горбатый нос и большой рот, все это носило немного восточный отпечаток, особенно когда Луковна улыбалась. Здоровье у нее было железное, и это, кажется, было единственное богатство, каким наградила ее судьба.

Старший сын Луковны, кончив курс в семинарии, уехал в Петербург и там поступил в медицинскую академию; он очень редко писал матери, и эти письма были настоящим праздником для нее. Когда долго не было писем, она беспокоилась, вздыхала, часто плакала, начинала видеть дурные сны, а в сны она слепо верила, и, странное дело, эти сны почти всегда оправдывались; увидит Луковна печь – значит, будет печаль, увидит воду или хлеб – письмо от сына из Петербурга. Читать Луковна не умела, поэтому все письма ей читали другие – Меркулыч, иногда я или отец; Луковна во все время такого чтения обыкновенно стояла, склонив немного голову набок, с самой блаженной улыбкой на губах, а по смуглому лицу так и катились счастливые слезы.

– Трудно ему, моему Сереже, – говорила Луковна, бережно складывая письмо: – город большой, все чужие... И в Таракановке-то как трудно жить, а в Петербурге-то ихнем, поди, в десять раз труднее. Сколько я говорила Сереже, чтобы он не ездил туда, а поступал в священники; что в этом учении ихнем, когда до седых волос надо учиться. В семинарии Сережа проучился двенадцать лет да в академии этой надо проучиться шесть лет – ведь это восемнадцать лет, а там сколько еще прослужит доктором-то!

– Зато уж выучится, Луковна, так хорошо будет, – говорил отец: – полторы тысячи жалованья будет получать, дом тебе купит.

– Ах, отец Викентий, мне уж немного и жить-то осталось, как-нибудь дотяну и без дому, а помру – и дом будет, из которого не вылезешь.

Дочь Луковны Лапа была старше меня годом или двумя и была бела, как русалка; волосы у нее были, как лен, голубые глаза и смешные, совсем белые брови и ресницы – вообще она была полной противоположностью своей матери и наследовала от нее только здоровое, сильное тело, так что в пятнадцать лет уже совсем сформировалась и выглядела невестой. По характеру это была девка сорвиголова, которая при матери была ниже травы, тише воды и ходила с опущенными глазами, а без матери выказывала самые козлиные свойства характера, дурачилась, хохотала и визжала самым необыкновенным образом, так что, бывало, даже вздрогнешь, когда услышишь нечаянно этот странный визг и смех.

Как я уже сказал, я «живмя жил» у Луковны и был в ее избушке как свой человек; когда не было Меркулыча или он был занят, я сидел с Луковной, особенно в бесконечные зимние вечера, когда дома была скука смертная, а в комнате Луковны горела в светце березовая лучина и она под мигающее пламя этой лучины пряла бесконечную нитку, сопровождая свою работу какой-нибудь песенкой. Но особенно тянуло меня в комнатку Меркулыча, никакой музей не представлял для меня такого интереса, как эта каморка, имевшая в длину шагов десять и в ширину шагов пять и одним окном выходившая на площадь; деревянные стены ее были оклеены синими обоями и были, как в музее, увешаны всевозможными предметами: картинки, фотографии, два ружья, маленький револьвер, известный под названием «кулачка», которым Меркулыч гордился больше всего; всевозможная охотничья сбруя, несколько кинжалов, целый арсенал удочек, гитара, несколько птичьих чучел, олени рога; небольшой тюменский коврик над деревянной кроватью, полочка с книгами, счеты, стенные часы с кукушкой, коллекции бабочек и минералов – словом, всего не перечислишь; небольшой ломберный столик в углу был буквально завален разными интересными «штучками», в числе которых первое место принадлежало бронзовой чернильнице, имевшей форму «гробницы Наполеона», как уверял меня ее владелец. Три деревянных стула, деревянный диван и небольшой комод дополняли обстановку этой комнатки.

– Ну, Кирша, давай чаевать, – говорит, бывало, Меркулыч, облакаясь в пестрый халат; «чаевать», то есть пить чай, в каморке Меркулыча было верхом блаженства, потому что в промежутки между стаканом чая и выкуриваемых папирос Меркулыч имел обыкновение играть на гитаре. Его репертуар был очень невелик, но я с новым удовольствием в сотый раз выслушивал неизменную польку «трамблям», какой-то «плач Наполеона», «вальс-казак» и еще несколько песен: «Гляжу я безмолвно на черную шаль», «Хуторок», но лучшую часть репертуара составляли «Барыня» и очень смешная песня «Чепуха». Меркулыч, заложив ногу на ногу и не выпуская из зубов папиросы, необыкновенно весело напевал «Чепуху», содержание которой я помню и теперь:

Поп надел чужой жилет
И наморщил брови,
Вдруг подъехал к нему дед
На седой моркови...

Чепуха, чепуха, чепуха... (bis),

Или:

Черт намазал мелом хвост,
Напомадил руки
И из погреба принес
Жареные брюки...

Эта замысловатая песня не имела конца, и Меркулыч даже приделал к ней некоторое продолжение «от собственного чрева», как он скромно выражался о своей авторской деятельности.

III

С двенадцати лет я пользовался неограниченной свободой, и мы провели с Меркулычем много отличных дней на охоте в горах; весной проводили целые ночи, лежа в закрадках на тетеревиных токах; после Петрова дня, когда попевали выводки утиные и рябиные, ходили за свежей дичью, а глубокой осенью отправлялись за глухарями и, наконец, по первому снегу, били «поспевшую белку». В лесу Меркулыч был как у себя в квартире, отлично знал все хорошие места, где водилась дичь, а в ней недостатка на Урале не было, и особенно хорошо он знал нрав, привычки, все хитрости и уловки той дичи, с какой приходилось нам иметь дело. С неподражаемым искусством он каким-то чутьем распутывал все хитрости утиных выводков, глуповатых глухарей и увертливой белки, которая летом, когда шкурка на ней была совсем красная, преспокойно сидела над вашей головой, но зато с первым снегом, когда «поспевала» и делалась серой, она, как молния, забиралась в такие густые ели, откуда ее мог добывать только один Меркулыч; небольшая сибирская собачонка Лыско, принадлежавшая Меркулычу, хотя и походила на дворняжку, но отлично отыскивала дичь, облаивала глухарей, искала белку верхним и нижним чутьем и даже приносила из воды убитых уток; только относительно зайцев, которых Меркулыч стрелял только зимой, для шкурки, Лыско не мог выдержать характера и, задрав хвост кольцом, с визгом убежал от нас, несмотря ни на какие увещания. По зимам Меркулыч стрелял зайцев, а когда выпадет глубокий снег, мы ездили с ним на особенных охотничьих пошевнях с высокими копыльями стрелять тетеревей «с подъезду» или на чучело. О рыбе и говорить нечего – Меркулыч, кроме Января Якимыча, здесь не знал соперников и, когда не ходил на охоту, ловил щук, окуней, ершей и налимов с необыкновенным искусством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.